П Р Я М О Й Т Р Е К

*пьеса для города внутри человека*

Утро кончается. Хлопок. Подъезда опять не было. К этому никак не привыкнуть. Только две крохотные ступени с отбитой больнично-белой плиткой отделяют асфальтированный тротуар от того места, где я живу: живу, ем, сплю, читаю, медитирую, работаю, учусь, танцую, прямо сейчас пишу этот текст. Дверь — взгляд суетится по стеклянным вставкам и сетке мелких трещин на белой, белой краске, сквозь которую проступают пятнышки ржавчины, пока рука полууверенно заглядывает в правый карман плаща, в другой, снова в правый, в левый, в четвёртый, потом проникает в пиджак, утопает в нём, рыскает пальцами между кошельком, мелкими бумажками и двумя паспортами. Где ключ? А, да, точно. Там, где и должен быть, — во внутреннем кармане плаща слева. Вот он: фигурный, полусказочный ключ привычно и немного нервно схвачен рукой и тут же почти с первого раза исчезает в мелкой темноте замочной скважины. Вторая рука подтягивает дверь за гладкую металлическую ручку с бело-серыми каплями красками. Мышцы спины напрягаются, выпрямляются, достигая освободительного хруста в позвоночнике. Из правой границы взгляды через затылок в левую границу и — дальше, дальше вдоль по улице, потом за угол, в ширину проспекта, где я уже теряю его — проносится кто-то смуглый и горбоносый, громко говорит по чернеющему между ладонью и ухом телефону и на четверть мгновения тоже ловит меня в периферии своего взгляда и тут же выпускает, не выделив меня из скромного девятнадцативечного архитектурного фона в пасмурно-светлых тонах. И всё моё иностранное существо ложно, но так правдоподобно ощущает, что на улице Каргаретели не только он, но и тот, и этот, и те, и другие, и вон та толпа горбоносеньких ребятишек, которая шагает по другой стороне улицы во главе с горбоносой и смуглой в сторону музея кино, театра и балета, и эта милая полубеззубая торговка овощами, парни (или не парни?) из тату-салона напротив: все они как бы совсем не обращают на меня своего рассеянного внимания (как и я на них), однако стоит мне только сделать любое неловкое движение, выпадающее из простого, известного всем алгоритма закрывания входной двери, их взгляды хищно пронзят меня. Что делать с этим воображаемым смущением? Я забываюсь над созвучием «периферии» и «феерии».

*два поворота ключа внутри замка и — вперёд*

Поворачивается голова, поворачивается тело, взгляд цепляется за жёлтые, красные, ещё более красные, почти огненные, белые, синие крупные пятна цветов в конце улице, в середине проспекта. Как через сорок восемь шагов будет жалко и невозможно в тысячный раз двигаться мимо этого продавца с десятками роз, тюльпанов у его ног. Невозможно пройти мимо сухих лиц цветочника, торговки овощами и других старых, несколькосотлетних людей, чей взгляд каждый раз одинаковый: по обе стороны от смуглого носа две бесцветно-карие бездны, и несчастья проходят сквозь них навылет, на вычет, навылет и возвращаются обратно, не найдя во вне никакой рифмы. Но иногда! иногда неизречённые несчастья попадают в глаза счастливых грузинских собак или мило-нездешних прохожих, которые имеют, знают своё несчастье, но на чужое ответить не могут. И мило-нездешние прохожие ёжатся, теряют всякую милость, потому что их существо, выходящее сначала за границу мимолётной личности, потом за границу хроникального времени, потому что они вдруг *вспоминают*, что через двадцать-тридцать-и-ещё-дцать лет они уже старые и торгуют тюльпанами, розами, фиалками, домашним вином и чачей за десять лари. Мило-нездешние прохожие ёжатся, теряют всякую милость и отворачиваются от своего будущего-уже-здесь несчастья в бесцветно-карих глазах цветочника. Только собаки, эти победоносно мохнатые существа, ловят, как сладкую мозговую кость, любое несчастье и растворяют в себе, потому что сознание их не знает судьбы, не знает возраста и легко исчезает из тела в другое тело. Значит, что старикам? Ничего старикам. И я, я иногда, самыми короткими моментами, четвертями мгновений, ощущающий себя во всей возможной перспективе времени — от одного рождения до одной смерти — такой я почти теряю милость, теряю нездешность, перестаю быть прохожим, но ничего не могу ответить, не могу искупить чужую печаль даже простым обменом цветов на деньги, которого никогда не совершаю, потому что изо рта, ещё до всякой мысли и всякого чувства рефлекторно вылетает «Ара-ара, мадлоба», и я пролетаю мимо. Дом забыт, исчез, забыт. Там всё хорошо было, есть и будет. Ничего не сгорит, ничего не взорвётся, ничего не лопнет, не побежит, не перемкнётся, не польётся вода, не обвалится потолок. Ничего. Ничего. Ничего. Всё останется так, как есть, так, как было, так, как будет, до моего самого скорого возвращения и будет так всегда. *Я только вышел п о г у л я т ь*. Ноги уже несколько минут ведут меня по тротуару. Я огибаю, перешагиваю, перепрыгиваю струящиеся в асфальте трещины, как бы чего не случилось, как бы чего не случилось… Уступаю дорогу тому. Уступаю дорогу этому. Уступают дорогу мне. Шаги летят. Наступил на запретную трещину. Ну, ничего, ничего. Ты оступился, попал ногой туда, куда нельзя наступать, но из-за этого ничего не произойдёт: ты не заболеешь раком и тебя не изнасилуют. Просто наступил на трещину. Иди дальше. Не могу. Это всё только суета неосознанного человека в пространстве города, понимаешь? Такая суета ведь и ритуального свойства своего не достойна. Ритуал — он где? Разве он в правильном шагании по тротуару? Разве достойно тебе, русский прохожий, марать свою карму трещинами в асфальте? Вечно ты тянешь за собой свои провинциальные привычки из одного города в другой. Даже здесь, в столице Иберии, в самом сердце удела Богородицы запинаешься сам об себя — русский ваня! Твоя карма вот тут, вот тут, в уме твоего сердца. Опять забыл, что пространство сознания не может ограничиваться умилительной коробочкой твоего черепа? Забыл, забыл! Забыл… Сознание, может быть, не ограничено моим пространством, однако я ограничен временем. Ограничен временем и органичен этому времени, поэтому приходится мириться с малоприятным фактом линейного изложения мысли внутри сознания: видишь? сначала ты говоришь, потом я, сначала ты, потом я, сначала ты, потом я... Так на этом мир человеческий стоит, так что давай-ка, давай-ка поднимай лицо, поднимай милейшую черепную коробку, поднимай лик, падай ниц в самое небо. Мышцы спины напрягаются, выпрямляются, достигая освободительного хруста в позвоночнике. И ноги начинают топтать трещины назло наивной ритуальности, вытягивающей из тебя все энергетические соки. С каждой преодолённой трещиной всё предсмертнее вопль автоматических проклятий: ты облысеешь, потеряешь работу, у тебя отсохнет рука, все твои родственники умрут, ты никогда не займёшься сексом, на тебя вон за тем поворотом нападут арабы, к тебе никогда не придёт вдохновение, завтра начнётся атомная война, ты сдохнешь, здохнешь, здохниш, ты потеряешь ключи, квартира взорвётся, рая нет и душа закончилась. Херня в голове крутится всё быстрее, но уже не беспокоит тебя. Постой, так о чём мыслить?

*поворот налево — с улицы на проспект*

Боже, боже, какое небо! Рука в кармане дёрнулась, чтобы перекрестить тело от головы до груди, но по-глупому вежливо замерла на границе кармана, выронив бычок на брусчатку, застеснялась человека на электрическом самокате, яростного потока машин справа от тебя, другого потока холёных людей в чём-то таком, на что ты привык смотреть в инстаграме, и не представляешь такого на себе. А взгляд утоп в ясной тайне — в таком же, как и ты, предвечном небе. Между прямым, длинным-длинным коридором петербургских крыш на проспекте Давида Агмашенебели между облаками, солнцем, воздухом и небом врезается нечеловеческое. Но не было, не случилось крестного знамени. И нечеловеческое отскочило от меня, как и ото всех, ото всех, ото всех, кроме асфальтовых трещин, которые от перекрёстка к перекрёстку,от города к городу, от страны к стране, от границы к границе беспрестанно плетутся в крестном знамени, и дальше, дальше — под землю — снова к нечеловеческому, пока не пройдёт насквозь землю. Шаг. Шаг. Шаг. Шаг. Шаг. Шаг, шаг, шаг, шаг, шаг. Шаг-шаг. Шаг-шаг. Шаг-шаг, шаг-шаг, шаг-шаг-шаг-шаг-шаг-шаг-шаг шаг шаг шаг шаг шаг шаг шаг шаг шаг шаг шаг шаг шаг шагшагшагшагшагшаг. Шаг — за шагом. Триста девяносто четвёртый шаг прерывается резко затормозившей машиной. Возобновляя движение, смотрю через стекло: за отражением самого себя, других шагающих на фоне очередного девятнадцативечного дома не могу разглядеть лицо водителя и ловлю мысль, выплывшую из эпохи Возрождения: шагание есть упорядоченное падение. Я одной мыслью поднимаю левую ногу и выпрямляю её навстречу земле, поднимаю правую… Что это, если не магия? Я, профан в физической науке, порой умею с удивлением испытать страсть к чистой физике, к движению в момент движения. Смотри. Смотрю. Падаю. Падай. Иду. Иди. Мыслю — и мышцы, названия которых я никогда не узнаю, побеждают пустое пространство, проносят меня на семьдесят четыре сантиметра вперёд, и ещё, и ещё, и ещё. И так — каждый раз, миллиарды раз за всю жизнь до одной смерти. Хочу — пойду прямо, хочу — пойду налево. Хочу пойду спиной вперёд. Хочу — пойду меееееееееедленно. Хочу — пойду быстрее любого из когда-либо шедших. И не могу захотеть остановиться, но меня останавливает светофор. Будет же счастлив Вечный Жид. Горит красный, мелькает жёлтый, иду. Мысль размыкается, и я всем собой ощущаю непрекращающийся информационный акт насилия.

*пауза посреди проспекта у полуголого дерева с жёлтыми листьями*

Каждый портик, каждый пилястр, каждый барельеф, колонна, карниз, парадная, квадратная плитка, теламон, витражи, башни и купола, пешеход за пешеходом, утробно звучащие автомобили, шевеление сухих листьев нападают на субъекта со всех сторон, заставляют поверить во всех себя. Хорошо, я — есть, но я тут же исчезаю, снова возникаю, исчезаю. Мерцание неостановимо. Слышу цок-цок-цоканье каблуков позади. Нельзя не видеть. Нельзя не слышать. Всё, что происходит от секунды к секунде, падает так глубоко в меня, что я никогда не вспомню лица этой девушки, которая даже не смотрит на меня, но будет где-то там, вот здесь, через тысячи ассоциаций влиять на меня, станет более мной, чем я сам мог или могу стать собой. О, нет, нет, нет… Ещё и запахи. Как же пахнет прелой древностью, хачапури и мочой из подвала. Желание исчезнуть непреодолимо. Информация априори победила тебя и продолжает побеждать, но ты упрямо продолжаешь казаться, мерцать. Вот дом. Смотришь в него, смотришь, смотришь, домысливаешь его невидимые части, очень серьёзно играешь в реальность и сам не замечаешь, что взгляд вон той кричащей каменнобородой головы намного живее тебя самого. Из этих вечночёрных глаз год за годом сочится реальность в такой степени, о которой ты и в наиблагоприятнейшем воплощении не можешь помыслить. Конец-конец. Конец-конец.

*солнце появляется из-за очередных облаков и исчезает снова*

Пробегают мурашки. Без видимой причины тело еле заметно передёргивается. Я делаю несколько бесконечных шагов с протянутыми и вывернутыми до второго этажа руками, снимаю со стены бородатый маскарон, подношу к своему лицу, и он врастает в кожу, в кость, в плоть, в прах. Небесная тяжесть незаметно упала на меня и поднимает моё сознание за шаг до предвечности. Сквозь невидимый туман во всех чинах и ипостасях замелькали ангелы, едино-белое крыло которых щекочет мой нос. Умозрительное перестало быть умозрительным. Смешно ощущать, как непрочитанные и вдруг известные мне тексты Святого Августина, Исаака Сирина, Майстера Экхарта, Эммануила Сведенборга, Сергея Булгакова и Даниила Андреева, и других таких же — как всё это милое мудрствование обращается в невыговариваемую Рифму. Через маскарон всем собой (каким собой?) я ощутил, как рифмуется всё от основания мира. Ощутил и понял, что каждый визионер, мистик, йог, оккультист, каббалист, гурджиевец, теософ, антропософ, духовидец и другие такие же даже не пытаются передать нам какое-то знание о том, что они видели от их жизни и продолжают видеть вовеки. Апокалипсис Иоанна Богослова — лучший анекдот, который можно было придумать на древнегреческом. Всё знание остановилось перед моими глазами на границе человеческого, вывернулось и печатью легло на губы маскарона. Я здесь. Я здесь! Я здесь. Я замурован в этой каменной маске, стою лицом в мир и спиной к предвечным небесам не в силах сказать слова. Стою и слышу в Смехе неизречённое и вечнозвучащие Слово. В конце концов, что может быть смешнее Уицраора? Небеса разомкнулись и впустили меня. Трепыхание ангельского крыла мягко направило мой взгляд туда туда туда туда туда туда и — дальше. Вот Содом. Вот Атлантида. Вот Лемурия (конечно, человеческая выдумка, которой Бог позволил быть, как и всему человеческому). Вот Иерихон. Вот Вавилон, к которому я почему-то испытал небывалую нежность. Вот Карфаген, Рим, Константинополь, Москва. Вот Чичен-Ица. Вот Мохенджо-Даро. Вот Фивы. И снова Вавилон, за которым показалось такое родное всем нам Междуречье. Вот Эривань. Вот Магадан. Вот Уплисцихе, и вот наконец-то Тбилиси. Единственное, за что я до сих пор держался — это язык. Вернее, язык ещё держался меня. Своим кончиком он касался небесного нёба, а своим корнем уходил в моё онемевшее горло, уходил и уходит до сих пор как знак грехопадения. Вернее, как знак несчастья и чести *присутствовать* в этом мире. Ангелы направили мой взгляд через тысячелетнюю историю Тифлиса-Тбилиси за несколько метров до моих земных ног. По ту сторону улицы цок-цок-цокала каблуками девушка (да, да, да, та самая, которую я не надеялся увидеть, но которая будет через тысячи ассоциаций влиять на меня, станет более мной, чем я сам мог стать собой). Ей двадцать семь лет. В руках у неё айкос. Она мегрелка. Учится в аспирантуре на философском факультете Тбилисского государственного университета, работает переводчицей с испанского на грузинский, и наоборот, и ещё не знает, что беременна от мужчины, в которого скоро влюбится, и который приходится ей пятиюродным братом. Родится мальчик. Его, конечно, назовут Георгий. Он вырастет и станет директором винодельческого завода. До тридцати семи и после пятидесяти четырёх лет он будет рисовать почти гениальные картины, но стать художником ему не позволит страх, смущение и мать. Георгий проживёт почти счастливую жизнь и успеет понянчить правнуков. Я увидел весь род Чачхалия в горизонтальном, вертикальном и диагональном разрезе, в правильной и обратной перспективе до самого Адама и дальше — до самых ангелов, едино-белое крыло которых щекочет мой нос. Где-то там, на самой далёкой родовой периферии мелькнул земной я. Мои славянские и татарские предки через Хазарский Каганат и Верхнюю Галилею вновь-и-всегда переплетаются с предками цок-цок-цокающей каблуками по ту сторону улицы Маргаритой Чачхалия. Мы — многоюродные родственники — существуем в нескольких метрах друг от друга и не чуем своего древнего родства, навсегда связавшего нас во всех наших общих потомках с каждым прохожим на проспекте Давида Агмашенебели, Монмартре, Ильинке и других улицах мира. Земное возвращается. Перед пустыми вечночёрными глазами маскарона невыносимо долго мелькнул Я от рождения до испорченного сколиозом тела под серо-белым плащом, мелькнул до самой смерти. Тут — мышцы спины напрягаются, выпрямляются, достигая освободительного хруста в позвоночнике, и я не успеваю увидеть себя за-смертью и тут же начинаю забывать о не случившейся тайне тайн. Умозрительное становится умозрительным. Маскарон отпал. Сквозь невидимый туман во всех чинах и ипостасях в последний раз замелькали ангелы, едино-белое крыло которых перестало щекотать мой нос. Кожа, кость, плоть, прах вернулись к самим себе, вросли друг в друга и вернули меня обратно. Несчастный конец, но ещё, к счастью и сожалению, не смерть. Оказывается, мой земной взгляд всё это время упирается в сумрачное стекло зелёного автобуса, который только что подъехал к остановке и стоит меньше чем в метре от моих земных ног, к которым заново приходится привыкать. Двери открываются. Я стою. Из автобуса выходят и заходят люди. Двери закрываются. Я стою. Автобус уезжает, а моё отражение ещё четверть мгновения висит в волнующемся воздухе. Я пялюсь в него, как будто оно и есть я. Ко мне волнами возвращается страх, и, значит, волнами исчезает знание. Конец-конец. К несчастью и счастью, грехопавший и спасительный язык удержал меня от ясной тайны нечеловеческих небес. Выйдя из-за очередных облаков, на меня упало грузинское солнце. Как о сне, я уже почти забыл о Рифме и теперь просто-напросто стою на перекрёстке. Хочется плакать, но слез нет, потому что нет и памяти о предвечном.

*после незаметной паузы поворот с проспекта на улицу*

Под кофтой образовалась потная плотная влажность, особенно на спине и под мышками. Всё тело начинает колоться, чесаться (особенно в области волосатой худой груди). Очугуневшая голова думает только об этом. В минуту бессилья сознание замыкается на плоти, которая липко и назойливо отождествляет себя с этим сознанием. Я закатываю рукава, развязываю пояс, расстёгиваю плащ, и продолжаю движение, исчезая в тени длиннющего дома и попадая в поток ветра — предвестника вечерне-ночного холода, тянущегося от гор до гор. В опустевшую от жары голову врезается песня из пронёсшейся четыреста тридцать два шага и несколько минут назад машины: «*я завтра снова в бой сорвусь но точно знаю что вернусь пусть даже через сто веков в страну не дураков а гениев*». Тоска, тоска. Я бросаю взгляд на каменнобородую голову под балконом второго этажа, чувствую в этой голове такую жизнь, которая сильнее моей жизни, и поворачиваю за угол. Ноги тяжело несут меня вдоль одной улицы, вдоль другой, вдоль третьей. Я несколько раз прохожу мимо собственного дома и не замечаю его даже периферией взгляда. Улицы здесь не по-грузински прямые. Здания с южно-петербургской статью в армянском районе, который расчерчивали на идеальные квадраты и прямоугольники немецкие архитекторы во второй половине девятнадцатого века. Встаёшь в начале любой улицы, смотришь вперёд, и взгляд уподобляется серебряной пули, которая пролетает весь путь, не задевает ничего и попадает точно в пустую цель. Да, действительно район Чугурети — самый последний южный рубеж Европы на всём континенте. Позади — всё, а дальше только Азия. И между течёт Кура. На том берегу улицы горбатятся то вверх, то вниз, изгибаются то влево, то вправо, становятся настолько узкими, что и двум людям свободно не разойтись, повстречавшись. Сквозь правобережную архитектуру Тбилиси проступает благородная дикость и восточнохристианский покой. Улицы втекают одна в другую, как горные реки. Двери и окна домов выходят к стенам разрушенных мечетей, зороастрийских храмов и православных церквей. Далёкая правобережная архитектура ускользает из моего взгляда. Ноги несут меня дальше.

*поворот за поворотом, поворот за поворотом, поворот за поворотом.*

*поворот за поворотом, поворот за поворотом, поворот за поворотом. поворот за поворотом, поворот за поворотом, поворот за поворотом, поворот за поворотом. поворот за поворотом, поворот за поворотом, поворот за поворотом. поворот за поворотом, поворот за поворотом, поворот за поворотом, поворот за поворотом, поворот за поворотом. Долгая пауза.*

Ноги несут меня мимо мостов. Надо мной кружат неизвестные птицы, разглядеть которых не хватает глаз. То ли улетают, то ли возвращаются, то ли репетируют свой полёт. Слепым взглядом, беззвучным рыком каменный лев на мосту Галактиона Табидзе останавливает меня перед собой, не давая шагнуть дальше — с берега на мост. Внизу шумит жёлто-красная Кура, которая семьсот девяносто семь лет назад до сих пор несёт в себе обезглавленные тела ста тысяч тбилисских мучеников, отказавшихся отказаться от Христа перед лицом очередного Джелал ад-Дина. На том берегу шумит Азия, на этом Европа, а река пуста. Ни людей, ни рыбы. Только красно-жёлтая вода и редкий пароход. Всё шумит, а я почти с завистью смотрю через мост и не могу двинуть ногой, не могу перейти, преодолеть, ворваться на проспект Руставели, проспект Чавчавадзе, площадь Свободы и за неё — до самой горы Мтацминда. Над всем правым берегом горит невидимый пожар тысяча семьсот девяносто пятого года, когда Ага-Мухаммед-хан Каджар после Крцанисской битвы сравнял грузинскую столицу с прахом. Невидящий, невидимый огонь персидского царя обгладывает уже несуществующий Тбилиси. Звенящее молчание окружает меня, волнами от самой реки проникает в мою голову, отделяя меня от людей-людей и машин-машин. Речное молчание, в которое я углубляюсь, в котором я начинаю тонуть, расходится внутри меня пустотой, расчищая сознание для новых состояний, к которым я не готов. Я ещё не готов, не готов *отсутствовать*, я ещё не умею шагнуть за порог тишины без цвета, без свойств. С самой тупой тупостью взгляд переходит от берега к берегу, от земли к земле, от воды к воде. И снова. И по кругу. И снова. От берега к воде. От воды к земле. Жёлто-красные листья над моей головой цепляются за взгляд, дребезжат внутри ветра наравне с птицами и падают в реку, тонут и возвращаются на поверхность. Опять жарко. И я замечаю, что хочется спать. От редкого холодного ветра я прячусь в плащ. Руки дрожат. Лицо потеет. В голове не вяжется ни одна мысль. Небрежно и плотно сплетённые умозрительные конструкции развязываются, разматываются, дробятся, забываются и исчезают за моей головой в неизвестном пространстве. Уже тогда ко мне шаг за шагом близилось понимание, что слишком случайно и чрезвычайно рано я оказался теперь у Куры. Может быть, окажись я на этом самом месте семьсот девяносто семь лет назад без своей славянской головы, я бы был признан покоем и тишиной среди стотысячной великомученической плоти, но теперь, уже, сейчас, отныне — слишком рано. Если ты малодушен, то малодушничай достойно. Не можешь мыслить — не мысли. Не может чувствовать — не чувствуй. От зданий уже выросли длинные тени. Пора бы домой. Окружённая непроницаемым молчанием голова разворачивается, разворачивается тело и продолжает путь вдоль набережной по направлению Куры. Ноги цепляются за камни, утопают в трещинах асфальта. Отныне бесшумный поток машин (по правую руку от меня) ускоряется, ускоряется, ускоряется и превращается в неразделяемое взглядом пятно с тысячью оттенков на периферии. Вдруг из-за незаметного угла с отбитыми кирпичами перпендикулярно бесцветному движению машин с беззвучным скрипом, хрипом и хрустом вылетает трамвай. Лишайные куски краски с проступающей сквозь неё ржавчиной во время бешеного движения отваливаются от железных боков трамвая. Трамвай — летит. Трамвай врезается в меня и пролетает дальше вдоль набережной… *Он проскочил сквозь рощу пальм, через Куру, через Нил и Сену, Он прогремел по трём мостам. И, промелькнув у оконной рамы, вслед ему бросил пытливый взгляд нищий старик, — конечно, тот самый, что умер в Бейруте год назад…* Тело дёргается вслед за головой в одну сторону, в другую, но всё-таки безропотно замирает на месте и перестаёт быть телом. В четверть мгновения животный страх перерождается в человеческий крик, рык, вопль, которые готовы вырваться вслед трамваю, ломающему европейскую геометрию левого берега и уже врывающемуся в правобережную Азию. Из моего скошенного, размозжённого о брусчатку рта, из моей отрубленной трамвайным колесом головы в воздух вырывается звук и зависает в нём неуслышанный. Тела нет, но что-то нетленное от меня в этом плотном воздухе ещё остаётся. Пребывая в непроницаемой и вот-вот внетелесной тишине, я уже готов как бы из ниоткуда взглянуть на случайножертвенные останки того, что считалось мной, на останки, сквозь которые растут деревья, строится город, течёт река, как моё сознание пронзает, наполняет целиком неизбывная речь:

— ხალხი არ ფლობს მათ ყურადღებას. თქვენი მიზანი უნდა იყოს მისი შეძენა. თვითკონტროლი შესაძლებელია მხოლოდ ყურადღების მიქცევის შემდეგ. დაიწყეთ პატარა ნივთებით[[1]](#footnote-1).

Без времени длящаяся кажимость отсутствия меня обрывается на самой себе. Меньше чем на мгновение потерявший себя мир опять обретает все свои извечные свойства: форму, цвет, запах, плотность, протяженность. Тело моё — цело и находится там, где находилось до заблудившегося в пространствах бывшей Российской Империи трамвая. Я есть такой, какой был всегда: сутулый молодой человек в бледно-белом плаще, усталый, угрюмый, радостный и любопытствующий взглядом по всем встречным предметам. Вокруг — ни лишайных кусков краски, ни дикого трамвая, ни трамвайных путей — ничего нет. Только набережная Куры по левую руку от меня, бесцветный поток машин — по правую и птицы, кружащие над нами в репетиции. Непроницаемая тишина проницается диалогом и размыкается навстречу звукам города. Заново существующая голова поворачивается, и на меня смотрит доброе грузинское лицо с лысой и усатой головой, на реплику которого внутри меня сам собой рождается ответ:

— С каких мелочей можно начинать? Что мне надо делать? С каких мелочей можно начинать? Что надо делать?[[2]](#footnote-2)

*поворот за поворотом, поворот за поворотом, поворот за поворотом.*

*поворот за поворотом, поворот за поворотом, поворот за поворотом. поворот за поворотом, поворот за поворотом, поворот за поворотом, поворот за поворотом. поворот за поворотом, поворот за поворотом, поворот за поворотом. поворот за поворотом, поворот за поворотом, поворот за поворотом, во время которых происходит диалог с незнакомцем*

— თქვენი ნერვიული და მოუსვენარი მოძრაობები შეგნებულად ან გაუცნობიერებლად აიძულებს თითოეულ ადამიანს დაინახოს, რომ თქვენ არ გაქვთ უფლებამოსილება, რომ თქვენ მხოლოდ კლოუნი ხართ. ამ მოუსვენარი მოძრაობებით ვერ იქნებით ვინმე. პირველი რაც თქვენ უნდა გააკეთოთ არის ამ მოძრაობების შეჩერება. გააკეთე შენი მიზანი, შენი კერპი. თქვენი ოჯახი დაგეხმარებათ. მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება ყურადღება მიიპყრო. ეს არის გაკეთების მაგალითი. კიდევ ერთი მაგალითია ის, რომ ახალბედა პიანისტს ვერასოდეს ისწავლის სხვაგვარად, ვიდრე ცოტათი. თუ გსურთ თამაში წინასწარი პრაქტიკის გარეშე, ვერასდროს შეძლებთ ნამდვილ მუსიკას. მელოდიები, რომლითაც თქვენ ითამაშებთ, კაკოფონია იქნება, ხალხს აანაწილებს და გძულთ. იგივე რამ ფსიქოლოგიური იდეებით: რაღაცის შეძენის მიზნით, საჭიროა გრძელი პრაქტიკა. შეეცადეთ პირველ რიგში გააკეთოთ ყველაზე პატარა საქმეები. თუ თქვენი მიზანი თავიდანვე რაღაც დიდია, ვერაფერს მიაღწევთ. თქვენი მანიფესტაციები იმოქმედებს, როგორც კაკოფონიური მუსიკა და გამოიწვევს სიძულვილს თქვენი მეზობლებისგან[[3]](#footnote-3).

— Что же я должен делать?[[4]](#footnote-4)

— არსებობს ორი ტიპის გაკეთება: ავტომატური გაკეთება და გაკეთება მიზნის შესაბამისად. მიიღეთ პატარა რამ, რაც ახლა ვერ შეძლებთ და თქვენს მიზანს გადააქციეთ, თქვენს კერპად გადააქციეთ. არაფერი შეგაწუხოთ, მხოლოდ ეს მიზანი გაქვთ. თუ თქვენ მოახერხებთ ამის გაკეთებას, მე უფრო მნიშვნელოვან ამოცანას მოგცემთ. ახლა თქვენ გრძნობთ სურვილს, რომ გააკეთოთ ძალიან დიდი საქმეები თქვენთვის: ეს არანორმალური სურვილია. თქვენ ვერასდროს გააკეთებთ მათ და ასეთი სურვილი გიშლით ხელს იმ მცირე საქმეების გაკეთებას, რისი გაკეთებაც შეგიძიათ. გაანადგურე ეს სურვილი, დაივიწყე დიდი რამ. შეფუთეთ თქვენი მიზანი მცირეწლოვანი ჩვევის განადგურების მიზნით[[5]](#footnote-5).

— Кажется, самый худший мой недостаток — чрезмерная разговорчивость. Если я постараюсь говорить поменьше, будет ли это хорошей задачей?[[6]](#footnote-6)

— შენთვის — უდავოდ. თქვენ გააფუჭებთ ყველაფერს თქვენი საუბრებით. ეს საუბრები ქმნის დაბრკოლებებს თქვენს საქმეებში. როდესაც ძალიან ბევრს ლაპარაკობ, წონა ქრება თქვენი სიტყვებიდან. შეეცადეთ გადალახოთ ეს ჩვევა. თუ ამის გაკეთებას მოახერხებთ, ბევრი კურთხევა იზოლირებული იქნება თქვენზე. სინამდვილეში, ამოცანა ძალიან კარგია. მაგრამ ეს დიდი რამ არის, არა მცირე. გპირდებით, რომ თუ ამას მიაღწევ, მაშინაც კი, თუ მე აქ არ ვარ, გავარკვევ თქვენს მიღწევას და გამოგიგზავნით დახმარებას, რათა იცოდეთ რა უნდა გააკეთოთ შემდეგ[[7]](#footnote-7).

— А если проявлять терпимость к проявлениям других? Будет ли эта задача хорошей?[[8]](#footnote-8)

— მოთმინებით გაუძლოს სხვები არის შესანიშნავი რამ, ბოლო რამ ადამიანისთვის. მხოლოდ სრულყოფილ ადამიანს შეუძლია მას. დაიწყეთ თქვენი მიზნის მიღწევა, ან თქვენი კერპით, ერთი ადამიანის ერთი მანიფესტაციის გაუძლოს, რომელსაც ახლა ვერ შეძლებთ ნერვიულობის გარეშე. თუ "გინდა", შეგიძლია ". თქვენ ვერასდროს შეძლებთ "შენ შეგიძლია" გარეშე "სურვილის გარეშე". სურვილი მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი რამ არის. ყველაფერი ცნობიერი სურვილის გამო[[9]](#footnote-9).

*пауза на перекрёстке перед светофором на проспекте Тамары*

Я и незнакомец с добрым грузинским лицом прошагиваем насквозь все левобережные улицы. Наше неутомимое упорядоченное падение веселит нас. Мы ради пустой и живящей забавы пинаем ногами воздух и пережёвываем его в светском разговоре. Ха-ха. Хи-хи. Ха-ха. На перекрёстке незнакомец поворачивается ко мне всем телом, указывает взглядом куда-то в пространство и произносит:

— ისე, აქ მოვიდნენ[[10]](#footnote-10)

Я вглядываюсь в указанном направлении и вдруг, вдруг, вдруг, вдруг вспоминаю, что я знаю только тринадцать слов из грузинского языка, на котором весь путь изъясняется мой собеседник, а я его радостно понимаю, понимал. Конечно, понимал. Глубоко понимал. Потому что сам для себя много раз думал произнесённые им мысли. Мысли, которые никак не могут во мне крепко остаться и прорасти настолько, чтобы я обратился в мир другим человеком. Я возвращаюсь взглядом из указанного пространства в сторону собеседника и вижу, что его нет рядом со мной. Рядом — шумящая пустота перед углом дома с выбитыми плоскими кирпичами. Я совершаю несколько упорядоченных падений, поворачиваю за щербатый угол и предстаю перед лицом Дезертирского Рынка. Льющаяся по пустому пространству между рядов толпа торговцев и покупателей вбирает меня в свою глубину, и я отдаюсь ей. Красные, зелёные, желтые, иссини-чёрные, бело-голубые, грязно-жёлтые, тёмно-тёмно-зелёные, кроваво-фиолетовые фруктово-овощные пятна захватывают мой взгляд. Люди с сухими, несколькосотлетними лицами протягивают навстречу руки с грушами, лимонами и базиликами, мимо которых тебя неостановимо проносит толпа, неспособная нарушить покой огромных собак, мирно лежащих на её бурном пути. Пахнет жизнью. Мимо лица пролетают полуразделанные туши свиней, баранов, тушки индюшек и кур. Между ними ангельски белеют половинки сулугуни и солнечно желтеет мёд. Израненные об самих себя рыбы через стекло тычутся многоголовым телом навстречу смертельному воздуху. А толпа танцует, движется в потоке и стремится уничтожить любое пустое пространство, обратить его в своё присутствие, в карнавал, в язычество. Надо мной, над нами, над ними, над всем этим звучит многоголосие. Восточнославянская речь во всех её вариантах перемешивается с арабской, индийской, армянской, турецкой, английской, еврейской. Так и исчерпывается внутренний Вавилон. Всемирный диалект Дезертирского Рынка вбирает в себя любую речь и становится понятным настолько, насколько мне понятен мой родной язык. Восток-восток. Начало начал. Тут, именно тут: на вечно средневековых рынках рождается природная диалектика и настоящий интернационал. Кружится, кружится, кружится голова. Перед глазами искрится нож в руках точильщика. Под ногами чавкает грязь. Любой язык здесь смешивается с другими, теряя свои границы, грузинский же, не ведающий свои корни, звучащий из доноевой древности, сохраняет себя в себе. Каждый и каждый, этот и тот, большой и маленький, старый и молодой, горбоносый и смуглый, рыжий и бледный, сван и аджарец, кахетинец и мегрел, гуриец и тушинец, пшав и хевсур, абхазец и картлиец, рачинец и феерданец — каждый и каждый грузин подобен воплощённому апокрифу. Их крики и радость, их споры и шёпот, их бурчание и восклицание, их молитвы и тосты — всё звучит, как импровизированные цитаты из ненаписанного священного текста. О, животворящая *гамарджоба*! Жыве, генацвали! Цвети, Сакартвело!

*пауза посреди дезертирского рынка и неисчислимое количество поворотов после неё*

Мой слух тонет в вавилонствующем базаре. Взгляд упирается в рыженькую, сладко-мягенькую хурму напротив. Рядом торгуются одни, торгуются другие, а я протягиваю руку вперёд. Хурма сама вкладывается в мою ладонь, проникает дальше — в глубину кармана и жжёт его огнём воровства. Базар становился громче, больше, шире, разрастается до невозможности, а я снова обретаю себя и отделяюсь от единоязыкой толпы. Меня охватывает спокойствие, хватает игра. Я ничего не брал. Я ничего не брал. Никто не видел, как я ничего не брал. Сквозь успокоение, как мантра, с языка на язык перекатывается, со всех сторон драгоценно повторяется: лари, ла-ри, ла-ри, л а р и. Мышцы спины напрягаются, выпрямляются, достигая освободительного хруста в позвоночнике, и я маленькими шагами рассекаю толпу, не прикасаясь к людям, аккуратно держа в кармане заветную хурму, не задевая ни этого, ни другого пса, грызущих свиные уши под прилавками с кабачками, мандаринами, цветной капустой, орехами, специями, иконами, свечами, брелоками, носками, шапками, ножами, кепками, коврами, календарями, чачей, вином, чурчхелой. Попав в свободное, незанятое движением тел пространство, выйдя на границу рынка и города, я пускаюсь в бег. Нет никаких светофоров, нет пешеходных переходов, нет белых полос, нет ни асфальта, ни домов, ни брусчатки, нет машин, нет людей. Есть только движение и расчерченный немецкой рукой прозрачный левый берег. Мимо меня поперёк себя проносится проспект царицы Тамары, проносится вдоль улица Микаэля Цинамдзгвришвили и перпендикулярные ей Поцхверашвили, Каргаретели, Римская, Киевская, Санкт-Петербургская, Батумская, Бакинская, Марджанишвили и Товстоногова. Где-где — я? Куда-куда — я? Мимо церквей Александра Невского, Михаила Архангела, на которых я не успеваю поднять руку, чтобы перекреститься, не успеваю взглянуть. Успеваю только рассмеяться. Меня растворяет движение. Всё — мимо. Мыски ног наступают на кончики вечерних теней, догоняют свет. Мимо мимо мимо мимо мимо Мимино. Наконец я, выскальзываю, вырываюсь, выбегаю из самого себя и совершаю бег по всем улицам одновременно, и — точно в цель. Как серебряная пуля, я проношусь по проспекту Давида Агмашенебели и не умею больше остановиться. Четыре миллиона двести шестьдесят тысяч восемьсот девяносто семь шагов множатся под ногами, множатся, множатся и растворяются в упорядочиваемом падении. Теперь один я населяю весь левый берег, бережно и сурово расчерченный немецкой рукой по канонам эвклидовой геометрии. Перспективы расходятся во множестве моих взглядов, сходятся и расходятся вновь. Вдруг позади меня исчезает время. Вдруг передо мной появляется другое время. В метрах от одного меня мелькает пылающий голодной молодостью Мандельштам, выходящий из чадящего чачей духана. В метрах от другого меня мелькает мямлящий зачатки стихов степенный Пастернак. Мерцают впервые встретившиеся и сразу влюбившиеся Гиппиус и Мережковский. Молодой, резвый, но уже великанищийся Лев Толстой проходит около того самого дома, где будет жить Максим Горький. Максим Горький останавливается и проводит своим взглядом по пустоте, где только что проношусь я. А Пушкин хохочет, хохочет, хохочет! *На холмах Грузии лежит ночная мгла; Шумит Арагва перед ним. И грустно, и легко ему; печаль его светла; печаль его, наполненная мною, и мной, и мной, и снова мной… Уныния его ничто не мучит, не тревожит, и сердце вновь горит и любит — оттого, что не любить оно не может.* Тело Грибоедова появляется и исчезает в земле. Нино Чавчавадзе плачет над могилой исковерканного мужа и мерцает в моём взгляде дольше других. Я не успеваю вглядеться в смертельно милого Лермонтова, как перед всем множащимся мной в своём беге вырастает Царица Тамара, а за нею, за ней: Давид Строитель, Вахтанг Горгасал, Ираклий II и другие, другие, другие предвечные грузины окружают меня, отсекая историю, оставляя времена. Их недвижные полупустые, соскобленные мусульманской саблей лики падают в мои глаза, уходят, уходят на глубину. О, глубина, глубина, я не твой! Шота Руставели светится из ниоткуда навстречу им. От царских лиц с нераскрытыми ртами до далёкого меня доносится ангелоподобный хор: «Шен хар венахи, шен хар венахи…». Бег становится Бог. Шен хар венахи. Где дом? Где дом? Все версии меня летят по городу в поисках дома. Многие взгляды суетятся в поиске двери со стеклянными вставками и сетке мелких трещин на белой, белой краске, сквозь которую проступают пятнышки ржавчины, пока многие руки полууверенно заглядывают в правые карманы плаща, в другие, снова в правые, в левые, в четвёртые, потом проникают в пиджаки, утопают в них, рыскают многими пальцами между кошельками, мелкими бумажками и неисчислимыми паспортами всех стран. Где ключ? А, да-да, точно-точно. Там, где и должен быть, — во внутренних карманах всех моих бледно-белых плащей слева. Но где дом, где я живу: живу, ем, сплю, читаю, медитирую, работаю, учусь, танцую, прямо сейчас не пишу этот текст? Где дом? На меня из божественно-руставелевского света надвигаются святая Нино и царица Кетеван. Многоликие мы-я останавливаемся на перекрёстке, и в меня один за одним врезаюсь я сам, врезаюсь я сам, врезаюсь я сам, в тридцать третьей степени врезаюсь я сам, возвращаясь, единичиствуя обратно, единствуясь восвояси, спасаясь от света и забывая его. Отирая тыльной стороной ладони пот с широкого наморщенного лба, тело ныряет в первый от меня подъезд. Хлопок. Непересчитываемые шаги заканчиваются. В парадной двери звенит стекло, но выдерживает и остаётся на месте. Я сползаю вниз по стене на пол и упираюсь головой в перерисованную умелой рукой картину Пиросмани. На меня смотрит рыбак в красной рубахе. Он — по колено в воде, в руках чёрная-чёрная-чёрная рыба и жестяное ведро. Он оглядывает меня с головы до поджатых ног. Жёлтая соломенная шляпа обращается в неснимаемый нимб, но божественное в этом я не могу различить. Рыбак существует лишь контуром, трафаретом. Из его отсутствующих белков сочится та же чернота, которая окружает его со спины и подступает, подступает ко мне. Я дышу. Я дышу. Я дышу. Я выравниваю дыхание и не могу оторвать взгляда от рыбака в красной рубахе, который выступает вперёд из шершавой плоскости. Мы оба из тьмы краски, из темноты подъезда выступаем друг другу навстречу. Кожа его бледна. Дыханье моё тяжело. Руки зябнут от холода и пропадают в тёплых карманах. В ладонь снова вкладывается рыженькая, сладко-мягенькая хурма. Она появляется из глубины кармана и тут же исчезает в моём пересохшем рту. Я самозабвенно ем её, ем, ем, ем. Плоть врезается в плоть. Кали-юго-огненный плод живит меня, вочеловечивает, оживляет, творит. С каждым склизким куском ко мне возвращается голод. Ощущение, как будто я никогда ничего никогда не ел, но, проглотив сладко-мягенькую половину, я оставляю рыженькую в руке и втираю её в мертвенно бледнеющую кожу рыбака, оживляя его, уподобляя себе. Темнота всё плотнее, всё гуще. Дыхание твёрже, спокойнее. Понимание исчезает. Сознание сжимается и разжимается. Сознание выскальзывает из моей головы и пульсирует в пространстве над самым теменем. Я продолжаю дышать. Плоть знает только себя и не отождествляет себя ни с чем, становится фоном, пейзажем, портретом пустоты. Дыхание углубляется, темнеет в самом себе и почти замирает. Вдох неотличим от выдоха. Я неотличим от рыбака в красной рубахе, от чёрной-чёрной-чёрной рыбы и жестяного ведра. Сознание яснится, сквозь него наступает свет. И тьма не отличима от него. Свет безразличен к ней в своей пульсации. То, что было мной, становится ритмом, дыханием, светом, ритмом. Не то. Не то. Не тот. Не та. Не те. Не то. Не не. Победа неизъяснимого, уничтожение человеческого, исчезновение всяких внутри и вне. В Грузии наступила ночь, меня не осталось нигде.

1. Люди не владеют своим вниманием. Вашей целью должно быть его приобретение. Самонаблюдение возможно лишь после приобретения внимания. Начинайте с мелочей. [↑](#footnote-ref-1)
2. რა წვრილმანებით შეგიძლიათ დაიწყოთ? რა უნდა გავაკეთო? რა წვრილმანებით შეგიძლიათ დაიწყოთ? რა უნდა ვქნა? [↑](#footnote-ref-2)
3. Ваши нервозные и беспокойные движения сознательно или бессознательно заставляют каждого человека видеть, что вы не обладаете авторитетом, что вы просто клоун. С этими беспокойными движениями вы не можете быть кем-то. Первое, что вам надо сделать, — остановить эти движения. Сделайте это своей целью, своим идолом. Заставьте свою семью помогать вам. Только после этого вы, может быть, сумеете приобрести внимание. Это — пример деланья.
   Другой пример — начинающий пианист никогда не может научиться иначе, нежели понемногу. Если вы хотите играть без предварительной практики, вы никогда не сможете играть подлинную музыку. Мелодии, которые вы будете играть, окажутся какофонией, заставят людей страдать и ненавидеть вас. То же самое с психологическими идеями: для того чтобы приобрести что-нибудь, необходима длительная практика.
   Постарайтесь сначала осуществить самые небольшие вещи. Если вашей целью с самого начала будет что-то большое, вы ничего не достигнете. Ваши проявления будут действовать подобно какофонической музыке и вызовут у соседей ненависть к вам.  [↑](#footnote-ref-3)
4. რა უნდა გავაკეთო? [↑](#footnote-ref-4)
5. Есть два вида деланья: автоматическое деланье и деланье в соответствии с целью. Возьмите какую-нибудь небольшую вещь, которую вы сейчас не в состоянии делать, и превратите ее в свою цель, в своего идола. Пусть ничто вам не мешает, имейте только эту цель. Если вам удастся сделать это, я дам вам более значительную задачу. Сейчас вы чувствуете желание делать слишком большие для вас вещи: это ненормальное желание. Вы никогда не сможете сделать их, и такое желание удерживает вас от того, чтобы делать небольшие вещи, которые вы могли бы делать. Уничтожьте это желание, забудьте о больших вещах. Поставьте своей целью уничтожение какой-нибудь мелкой привычки. [↑](#footnote-ref-5)
6. როგორც ჩანს, ჩემი ყველაზე უარესი უარყოფითი მხარეა გადაჭარბებული საუბარი. თუ ნაკლებად ვიტყვი, ეს კარგი ამოცანა იქნება? [↑](#footnote-ref-6)
7. Для вас — несомненно. Вы все портите своими разговорами. Эти разговоры создают преграды вашим делам. Когда вы слишком много разговариваете, из ваших слов исчезает весомость. Постарайтесь преодолеть эту привычку. Если вы сумеете это сделать, на вас изольются многие благословения. В самом деле, задача очень хорошая. Но это большая вещь, а не маленькая. Обещаю вам, что если вы добьетесь этого, даже если меня здесь не будет, я узнаю о вашем достижении и пошлю вам помощь, чтобы вы знали, что вам делать дальше. [↑](#footnote-ref-7)
8. და თუ თქვენ აჩვენებთ ტოლერანტობას სხვისი მანიფესტაციების მიმართ? კარგი იქნება ეს ამოცანა? [↑](#footnote-ref-8)
9. Терпеливо выносить проявления других — это великая вещь, последняя вещь для человека. На нее способен лишь совершенный человек. Начните с того, чтобы сделать своей целью, или своим идолом, способность переносить какое-нибудь одно проявление одного лица, которое вы сейчас не в состоянии вынести без нервозности. Если вы "захотите", вы "сможете". Без "хотенья" вы никогда не "сможете". Желание - самая могучая вещь в мире. Все происходит благодаря сознательному желанию. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ну, вот мы и пришли. [↑](#footnote-ref-10)